

В ДОРОГЕ...

Впереди ещё целые сутки... Степан Алексеевич Ракитин невольно усмехнулся: знали бы соседи по вагону, какие мысли бродят в его голове. В голове сорокапятилетнего человека в чёрных роговых очках, сурового с виду, с резкой складкой на лбу. Ракитин знал, что внешне он выглядит суховато, но никогда не старался смягчить этого впечатления. Кому надо — разберётся, поймёт. Кто-то из товарищей по работе сказал ему однажды: «Слушай, Стёпа, не очень-то модно сейчас ходить в кителе и галифе, да ещё чтобы из кармана две авторучки торчало». Ракитин только плечами пожал. Не модно? Что ему за дело до этого. Зато удобно... Вот и сейчас, вероятно, его принимают за какого-нибудь из множества суровых ревизоров, один вид которых вселяет невольный трепет в сердце самого невинного человека. Этому помогает и коричневая разбухшая папка на столе и кожаное пальто, аккуратно повешенное около двери... А между тем он далеко не ревизор, никогда им не был и быть не хочет. Да и никаких официальных командировочных мыслей у него нет. Думает он о предстоящей встрече с женой. Два месяца не видел её и увидит только через сутки...

Лёжа на верхней полке, Степан Алексеевич вспоминал Клавины глаза, такие ясные, её голос, обычно ровный, уверенный, в котором могла звучать и нежность. Вспоминал её руки, милые, трудолюбивые руки. Он любил их. Любил, когда они заботливо касались его вещей, когда они аккуратно проводили линию на чертеже. Любил, когда она одним неуловимо быстрым движением касалась волос — пышный узел их рассыпался, и волосы, золотистые ароматные волосы Клавы падали ей на плечи. Вспоминал её лёгкую походку...

Купил на дорогу две книги, а читать не хотелось. С соседями по купе тоже не разговорился. Их было всего двое. Молодая женщина в начале дороги оживлённо, но неудачно пыталась завязать беседу. Степана Алексеевича раздражала нарочитость её тона, кокетливость движений; у Клавы, каждое слово и каждый жест были простыми и естественными. Соседка скоро соскучилась и переселилась к окну в коридоре. Около неё сейчас же вырос какой-то полосатопижамник с лысинкой.

Второй спутник не мешал. Это был совершенно седой человек, но Ракитин никак не мог определить его возраста. Иногда он казался совсем молодым, полным сил и энергии, но вдруг какая-то тень ложилась на его красивое худощавое лицо, оно становилось утомлённым и старым. Облокотившись на руку, он неотрывно смотрел в окно, занятый своими мыслями. Случайно взглянув на него, Степан Алексеевич заметил на его губах беглую улыбку, в другой раз ему показалось, что молчаливый сосед кому-то приветливо кивнул за окном. Но за окном никого не было, только зелёные сосенки бежали вдоль полотна, обгоняя друг друга, да в небе плыло далёкое белое облако. Степан Алексеевич невольно сделал вывод: «Работяга, наверное. Такой в дороге отдыхает».

И действительно, казалось, что соседу доставляет удовольствие любая мелочь: и полёживание на постели, с руками, закинутыми под голову, и грузовик, убегающий вдаль по одной из бесчисленных дорог, и заросшая камышами речушка. Его радует и ветер, который врывается в купе и играет шёлковой занавеской с буквами МПС и даже самые эти буквы. По крайней мере, он ласковым движением коснулся их, словно погладил.

Рвался из репродуктора какой-то избитый вальс, сосед Ракитина ловко и терпеливо крутил ручку, пока звук не становился чище, яснее, а потом, откинувшись на мягкую зелёную спинку, с явным наслаждением слушал музыку, не уставая вбирать жадным взглядом всё, что мелькало за окном: и охотника с двустволкой и притороченным к поясу зайцем, и ребят, махавших поезду рукой, и надпись: «Миру—мир», старательно выложенную из круглых камней путевым обходчиком.

Приносили чай. И это, казалось бы совсем незатейливое занятие, доставляло человеку удовольствие. Он брал стакан в обе ладони, словно привык бережно хранить и собирать тепло. Он медленно размешивал сахар в стакане и чай пил медленными, истовыми глотками.

Неожиданно взгляд его становился странно напряжённым, полным боли. «Не иначе, у товарища неприятности по работе», — заключил про себя Степан Алексеевич, но сейчас же, заметив спокойную улыбку на губах соседа, решил: «Были, прошли...»

Так и ехали каждый со своими мыслями. И снова Ракитин думал о своей жене. Клава появилась в его жизни недавно, всего четыре года назад, когда многое уже было за плечами.

Он не тосковал о первой жене, умершей в годы войны. Женился рано и быстро увидел, что слишком они разные люди с этой женщиной. Жена в течение многих лет назойливо и упрямо пыталась переделать его на свой очень мелкий лад. Вбить ему в голову свои узенькие куцые мысли. Больше всего он ненавидел ложь, а она умела лгать, лгала без причины. Ревновала его к собраниям и работе. Пыталась напихать в жизнь много ненужной чепухи, лишь бы на этом, ненужном ему, была важная для неё этикетка: «Как у людей». И всё-таки, когда она умерла, Ракитин вспоминал и светлое, было же и такое, мало, но было. О личной жизни больше не думал. Отдавался работе.

А годы были трудные. Он заведовал промышленным отделом горкома партии. На улицах города—обугленные развалины. Электроэнергию распределяли, как воду в пустыне. «Топлива!»—требовали заводы. «Людей»,—кричали стройки...

День, когда Ракитин увидел Клавдию, был такой же, как остальные, полный неотложных позарез дел. Утром он докладывал на бюро о том, как идёт строительство подстанции. Потом ездил на стройку водопровода... Уже под вечер оказался в своём кабинете, где этой зимой было так же холодно, как и во всех кабинетах города.

В дверь постучали: «Войдите»,—крикнул он. В комнату решительно и легко вошла женщина.

— Инженер-технолог Каменева,—представилась она.

Он не успел ничего сказать, зазвонил телефон. Ракитин снял трубку: он с утра разыскивал председателя артели «Прогресс». С ним требовалось напористо поговорить: стёганки и шапки—это, конечно, хорошо, но почему бы не расширить ассортимент. Пора! Спорили долго. Осторожный председатель боялся всякого риска, и Ракитин почти охрип, прежде чем выбил ответ: «Подумаем. С людьми посоветуемся».

Только опустив трубку и облегчённо встряхнув головой, он вспомнил, что его ждёт женщина: «Как её? Кажется, Каменева».

Из-под серого платка на него смотрели такие ясные глаза, и ему показалось: эти глаза как-то сразу поняли, что он устал, измотался, что трудно ему приходится подчас.

Неожиданно для себя он усмехнулся и пожаловался:

— Семь потов сойдёт, пока такого кряжа обломаешь.

— Да, нелегко вам,—согласилась женщина.

И хотя слова её и тон были обычными, просто вежливыми, Степану Алексеевичу они показались очень душевными.

— Итак, вы инженер. Давно в городе?

— Третий день,—она нахмурилась и заговорила гораздо быстрее, чем раньше.— Я член партии, ничего не имею права скрывать. Приехав сюда, на новое место, я должна объяснить здесь, у себя, в партийном доме, почему я не могла остаться там...

Ракитин на мгновенье прикрыл глаза. Нет, это была не просто тревога, это был страх: он боялся, что сейчас она, эта женщина расскажет о чём-то тяжёлом, тёмном, порочащем её.

— Говорите,—суховато сказал он.

— На мне большая, очень большая вина перед партией,—волнуясь, продолжала Каменева.— Не распознала человека. Не проявила бдительности. Я знала его не меньше двадцати лет. И вот он... он оказался врагом,—она неожиданно громко всхлипнула и огромные серые глаза её словно распахнулись во всю ширь.

— Кто он?—нетерпеливо спросил Степан Алексеевич.

— Мой муж...—и поправила себя:—Мой бывший муж.

— Успокойтесь и расскажите всё,—мягко сказал Ракитин, ещё не зная, сможет ли он пожалеть и понять её и от всей души желая, чтобы это случилось.

Она говорила сначала сбивчиво, потом несколько успокоилась. Стараясь быть очень добросовестной, не искала себе оправданий...

Юношеская дружба стала любовью. Вместе уехали учиться. Окончив институт, работали на одном заводе. Муж Клавдии был талантливый человек. Его назначили начальником сборочного цеха. О нём писали... Потом война...

— Разве я могла подумать,—она взглянула прямо в глаза Ракитину, словно ища в нём поддержки,—разве могла я когда-нибудь подумать, что он забудет обо всём, что дала ему Родина...

Ведь его орденами наградили, ведь он дважды ранен был... Я так им гордилась... О нём опять писали. Потом всё оборвалось. Ни писем. Ни вестей. Я твёрдо решила жить памятью о нём...

Она низко склонила голову. Прошла минута, прежде чем она снова взяла себя в руки.

Он остался жив. Попал в плен. Был брошен в фашистский лагерь и почти два года провёл там... Вернувшись домой почти через год после конца войны, он рассказывал о мучениях, которые перенёс в лагере. Она руки ему целовала. Верила каждому слову... Он начал работать, опять с тем же блеском, что и раньше.

— И вот,— голос её дрогнул,— его арестовали...

Скоро она узнала страшные вещи. Всё, что сказали ей, было невероятно, не укладывалось в голову, и тем не менее, это была правда.

Вызывали на допрос и её. Единственное, что она с отчаянием твердила: «Разве я могла предположить», «У меня не было никаких подозрений». Просто была обманута. Слепо доверяла ему. Сама пришла в партком. «Судите меня»,— требовала она. Со всей откровенностью Клавдия рассказала на партийном собрании всю свою жизнь, объяснила, как верила мужу и как обманулась. Следователь раскрыл ей глаза. Сейчас против человека, с которым она когда-то радовалась и горевала, обёртывался любой его поступок. Самозабвенной работой хотел замаскировать своё истинное лицо. Сумел пролезть в партию. Конечно, не был схвачен фашистами, а сам сдался в плен. Клавдия не раз слышала и читала о таких. О, если бы она могла помочь следователю, то не задумываясь сделала бы это. Но в её руках не было ничего, никаких улик. Единственное, что она смогла, это сообщить, с кем он дружил, где бывал. Это был страшный человек. Уже находясь в заключении, он дважды писал к ней и дважды опять пытался обмануть её. Оба письма она отдала следователю. Объявила о своём разводе... Клавдия слишком дорожила своей честью, не могла допустить, чтобы на неё легло пятно. Ведь всю жизнь она была непримиримой. К лицу ли ей было колебаться сейчас...

— На вас наложено взыскание?— перебил её Ракитин.

— Нет.

— Почему вы приехали сюда?..

— Мне было слишком тяжело оставаться там. Но я, как член партии, не могу и не хочу, здесь, на новом месте, ничего скрывать. Вот я вся перед вами. Найдёте возможным, останусь, пойду работать куда пошлёте...

После этой встречи Ракитин не раз ловил себя на том, что думает о Клавдии. Она работала на станкостроительном заводе, где ему частенько доводилось бывать. Как-то заговорил о ней с секретарём парткома. «Клавдия Фёдоровна Каменева?— ответил тот. — Молодчага. Принципиальнейший человек. Ни себе, ни другим не даёт поблажки».

Встречался с нею на активах. Однажды она выступала, очень горячо и доказательно критиковала руководство завода, не боялась испортить отношения.

Уже весной она опять пришла в горком.

— Степан Алексеевич, мне нужен ваш совет...

Оказывается, её бывший муж работал над изобретением. Его заметки сохранились. Она тщательно разобралась в них, но долго колебалась: зачем ему что-то улучшать, экономить, если он ненавидел всё, что его окружало. А, может быть, он хотел сделать своё изобретение новой ступенькой, чтобы укрепить свой авторитет.

— Хочу разработать, — сказала она Ракитину. — Полезная мысль не должна пропадать. И вместе с тем не хочу, чтобы её считали моей.

В этот вечер они вместе шли по бульвару. Цвели акации. Их душистый и пряный аромат, казалось, насытил собой каждую частичку воздуха.

В конце бульвара только что соорудили фонтан. Ракитин увидел, как среди зелени блеснули в ярком электрическом свете струи воды, взлетающие вверх.

Сейчас эта дорога между рядами тёмных деревьев окончится и неизвестно, повторится ли когда-нибудь в жизни. Проходили мимо свободной скамьи. Ракитин предложил сесть, Клавдия села. Тогда он, сам не зная как, решился, взял её руку в свои.

— Клавдия Фёдоровна... Клава...

И вот уже пятый год, как они женаты. Сколько нового вошло в его жизнь. Как хорошо знать, что у него есть близкий человек, который понимает каждую его мысль. Как хорошо, что вся она воплощение прямоты, честности, непримиримости. Иногда ему чуть-чуть кажется, что она слишком

категорично и резко судит о людях. Но это так понятно после всего, что пришлось ей перенести. В одном он твёрдо убеждён: у Клавдии нет двух правд, одной для себя, другой для окружающих...

Сейчас, возвращаясь домой, стосковавшийся по жене Ракитин вспоминал многие милые сердцу мелочи. Однажды его застал летний ливень. Вымокнув до нитки, он бежал через двор прямо по лужам, не разбирая пути. Вскочил на крыльцо. В сених стояла Клавдия. Бросилась к нему. «Вымок, родной!» — И столько тревоги, столько заботы в голосе...

Тут Степан Алексеевич почувствовал, что он не может отдаваться воспоминаниям один. Ему нужен слушатель. И хотя обычно он не любил ни с кем говорить о личном, но сейчас он должен поделиться с кем-то своим счастьем, рассказать о Клавдии.

Он спрыгнул вниз и сел напротив своего молчаливого спутника. Вечерело. Кромку неба объяло пламя. Потемнели рощи и перелески, пробежавшие мимо полотна.

— Едем почти сутки и незнакомы, — начал Ракитин и отрекомендовался.

Его сосед назвал себя Григорьевым.

Помолчали. Хорошо, что подоспел проводник с чаем. Появилась и соседка. Впрочем чай она пила явно наскоро и не успела поставить стакан на столик, как жалобный голос произнёс: «Я вас жду, Лидочка! В домино идёте сражаться», — и лысая голова заглянула в купе.

После ухода соседки Ракитин усмехнулся:

— Ого, уже «Лидочка!» Слышали!

— А вы чего ждали? Что она будет мужу письма с дороги писать? — зло усмехнулся Григорьев. — Нет, такая и предаст и продаст в любую минуту. Уж раз лучшие на это способны...

Ракитин увидел, что глаза его собеседника сузились, словно от боли, и понял: спрашивать ни о чём нельзя. Слишком очевидно, что не случайно сорвалась с его губ эта фраза и многое стоит за ней, но и оставить её без ответа Ракитин не хотел. Немного волнуясь и сам понимая, что это, может быть, неловко и смешно, Ракитин заговорил о женщинах. О женщинах вообще. Он чувствовал: слишком жестоко рассказывать о Клаве, о своём счастье этому много пережившему человеку. А молчать Ракитин тоже не мог: ну, обидела его одна, пусть горько обидела, но нельзя же обобщать, нельзя же, чтобы в интонациях проскользнула и брезгливость, и презрение, и ненависть. Разве правильно, скажем, его Клаве отвечать за мысли и дела этой неизвестной женщины.

— Сурово вы судите... Иногда надо понять...

— Ах, понять! — Григорьев чиркнул спичку, закуривая, и Степану Алексеевичу показалось, что руки его слегка дрожат. — «Понять и простить?» Такая, кажется, формулировка имеет хождение? Ну, а я твёрдо знаю: не прощу. Никогда не прощу! И не то, что замуж вышла, что счастлива... Писала она об этом. Нет, — он сделал отстраняющий жест рукой, — не мне, конечно, писала... Это не трогает меня. Поверьте, нисколько не трогает.

— Значит, не любите?

— Не люблю...

— Выходит, и не любили?

— Нет, — в раздумье произнёс Григорьев, — любил. Ой, как любил!

Он замолчал. В купе совсем стемнело, только вспыхивал и потухал огонёк папиросы да в полуоткрытую дверь падала наискось полоска света. Ракитин потянулся было к выключателю, но Григорьев остановил его.

— Погодите. Посидим так. Почему бы, чёрт возьми, мне не рассказать вам обо всём. Утром мне выходить. Наверное, никогда в жизни мы не встретимся, а через неделю и фамилии друг друга забудем...

Ракитин молчал, чувствуя, что любое его слово прозвучит невпопад.

— Только вы, поди, любовной истории ждёте, с сильными переживаниями и страстями, с таинственным третьим, разрушившим моё счастье, — он говорил, словно издеваясь. — Не будет такой истории... Ну, хотите слушать? — почти грубо спросил он.

— Уже слушаю, — спокойно ответил Ракитин.

— Впрочем и про любовь расскажу, — взгляд Григорьева стал задумчивым, и Ракитин подумал, как разительно меняется этот человек и какой он должно быть светлый и душевный, если озлоблённость и гнев только на минуту овладевают им и опять уступают место спокойной глубине.

— Расскажу и об этом... Я её пятнадцатилетней девчонкой встретил. Знаете, радостная такая, тоненькая, гибкая. Помню её в юнгштурмовке. Стриженные волосы, а из-под козырька фуражки —

большие серые глаза. Они всегда смотрели прямо на собеседника. Только прямо. Да, сомнений она не знала никогда. Как вы думаете, Ракитин, хорошо это? Никогда не знать сомнений?

— Вероятно, да, — помолчав секунду, ответил Ракитин.

— Не знаю, не знаю... Мне кажется, что это просто означает— никогда не думать... На готовых мыслях жить. Впрочем на отвлечённые темы мы ещё с вами побеседуем. А сейчас я вернусь к своему рассказу. Любовь на самой заре юности... Красивая, чёрт возьми, штука. Сначала, правда, мы, как слепые кутята, не понимали, что с нами делается, почему мы ссоримся, дерзим друг другу, почему небо без всяких на то причин вдруг темнеет или расцветивается зарёй. Помню, летом мы отправились в поход. Она первая вскочила на уступ скалы и подала мне руку. Ох, как я обиделся, крикнул: «Ты чего задаёшься!» Она, удивлённая, отступила, а потом, не оглядываясь, пошла вперёд и не видела, как ловко вскочил я на этот уступ. Куда ей до такого прыжка!.. И ревность мучила. С нами был Колька Спицын. Помню, этот Колька, веснушчатый и тупоносый, умудрился где-то до крови прищемить палец. С Колькой вечно что-то случалось. То каблук у него отлетит, то напьётся Колька в жару холодной воды и потом сипит и глаза таращит, — а тут палец. Смотрю, а она держит Кольку за руку, промывает и перевязывает, да ещё в глаза заглядывает: «Ну, как, Коленька, не очень болит?». В этот вечер я спать не мог. Бродил вокруг нашего лагеря и думал, вот сейчас, в эту тёмную ночь сорвусь с крутой горной тропы. Утром найдут меня бездыханным и уже нельзя будет спросить меня, больно мне или нет... Всё шло своим чередом. И настало время, когда мы до рассвета сидели на крылечке и у неё на плечах был мой пиджак, а её рука была в моих руках, и спрашивал я её обо всём, что в таких случаях полагается, а она отвечала всё, что из века положено...

Он замолк.

— А дальше? — очень тихо спросил Ракитин.

— Будет и дальше... Да, что мы, чёрт возьми, в темноте сидим, — он протянул руку, и в ту же минуту зажглась настольная лампа. Григорьев опять закурил, затянулся несколько раз подряд.

— Есть забавное поверье, что каждому человеку положено определённое количество счастья, и он может его выпить залпом, одним глотком, или растянуть на всю жизнь. Если верить этой сказке, то я своё счастье получил сполна. Потому что был я тогда здорово счастлив. Поженились мы ещё в институте. А если вы любили, так знаете, как вдвойне прекрасны каждая удача, каждый успех, когда тебя любят и ты любишь сам. Хорошо жить, когда твоей удачей гордятся, и ты готов на всё, чтобы тобой гордились.

— Слушайте, — неожиданно перебил он себя, — а не очень всё это смешно и сентиментально?

— Что же тут смешного? — пожал плечами Ракитин.

— А впрочем и смеяться можете. Раз начал — всё скажу, что на душе лежит. Я любил. Я очень любил её. Помню, как проснувшись рано, я смотрел на её спокойное во сне лицо, осторожно касался волос. Они всегда казались у неё такими живыми и пахли свежестью и полевыми цветами... Смешно, сейчас, через много лет, говорить о запахе волос, его давно забыть пора.

Ракитин хотел было сказать, что и в этом нет смешного, ведь думал же он сам час тому назад о руках, походке и волосах Клавды, но Григорьев уже продолжал.

— И работу любил. И напряжение её, и усталость.

Ракитина удивила тоска, внезапно проглянувшая в тоне его собеседника.

Григорьев словно понял это:

— Не удивляйтесь. Мне так мало пришлось поработать в жизни. Мне сорок три года. Не верите? Думаете, старик. Нет, я не обманываю. Сорок три. К этому времени у людей стаж в четверть века бывает, а мне и семи лет работать не довелось.

— Армия?

— Расскажу... За год до войны мы оба вступили в партию. И тогда я решил, что путь у нас до конца жизни один... Началась война... Вы на каком фронте были?

— Под Ленинградом.

— Я на западном. Наш полк всё полной мерой испытал. И отступления. И победы. За два года личный состав полка дважды сменился. Я не прятался за спины товарищей, хотя и остался жив. Две нашивки носил, оба ранения были тяжёлыми. Ордена имею.

— Это вы на войне посидели?

— Нет... Потом... Слушайте, Ракитин, а о чём вы на войне мечтали?

— Наверное, о чём все... О победе, о мире...

— Вот! Я после института всего три года проработал. Три года! Ещё и опыта не накопил. А силы в себе чувствовал. Сколько мыслей недодуманных оставил на заводе, сколько планов строил. В одних уже был уверен, другие только проявились. Обо всём писал жене... А какие письма получал от неё. Нежные, полные веры. И, знаете, что поражало. Ведь не знала же она точно, как, в каких условиях воюем, я её не хотел волновать, а ведь угадывала. Всё угадывала. Бывало, читаю письмо, а в нём ответ на самые сокровенные мои мысли...

Он опять умолк. За окном — ночь, которую только изредка прорезывали огни, брошенные в небе и на земле, и одни из них казались отражением других.

Григорьев снова закурил и вдруг неожиданно резким движением притушил только что зажжённую папиросу. Голос его звучал очень глухо.

— Потом при одной из операций наш взвод был отрезан и окружён... Сколько говорилось о последней пуле. Где была моя последняя пуля? Не знаю. Может, прикончила она одного из врагов. Меня оглушили прикладом. Да и без того не устоял бы я на ногах, я был тяжело ранен...

Всё с нарастающим волнением слушал Ракитин. Странная, нелепая мысль закралась ему в голову и не давала покоя.

— Подождите! — голос Ракитина прервался. — А как звали вашу жену?

Григорьев поднял на него глаза, нахмурился:

— Не всё ли равно! Ну, скажем, Мария...

Ракитин почувствовал, что всё снова стало на своё место, он готов был обнять этого человека, одним словом снявшего тяжесть с души.

— Два с лишним года пробыл я в лагерях. Пытался бежать — поймали. Каждый день терял товарищей и не знал, останусь ли жив сам. Помню, как издевался над нами один из фашистов. «Ну, молодчики, сегодня займёмся спортом», — кричал он, и по команде мы бежали, падали в холодную грязь, снова вскакивали и снова бежали. Знали, отстать, замешкаться нельзя — пусть рвётся на куски сердце, пусть не слушаются ноги, пусть всё тело сковано болью. Надо остаться в живых, дожидаться свободы. Мы ненавидели фашистов, которые издевались над нами. Но не удивлялись. Это были враги. Чего иного мы могли ждать от врага! И мы не сдавались. У нас даже своя организация была. Стоило кому-нибудь ослабеть, мы, сами голодные, отдавали половину свекольного супа, гнилой скользкой картошки, только бы он завтра нашёл силы бежать, падать, вскакивать по команде, только бы дожил до свободы, вернулся на родину. Родина... Говорят, тоской о родине страдают в любых условиях. Но мы оставили её истерзанную, политую нашей кровью и бесконечно любимую. Среди нас было немало людей моего возраста, тех, кто получил от неё всё и так мало отдал ей. Думал я и о жене... Если бы вы знали, сколько думал! Как беспокоился за неё: она могла считать меня погибшим. Хотел остаться в живых, вернуться к ней.

— Вернулись, а она не ждала! — невольно с обидой вырвалось у Ракитина.

— Нет, Ракитин, она была правильным человеком. Она ждала. Горевала. Работала не покладая рук. Мы встретились. Я рассказал ей всё. Шаг за шагом. Всё, что испытал в годы войны, всё, что пережил в лагере. Я ни одной мысли не утаил от неё, ни одного движения сердца. Говорил и о минутах слабости и о минутах, когда был способен на подвиг. Она слушала, плакала и целовала...

— Руки, поди целовала, — со странным для себя спокойствием и отчуждённостью от всего, что ещё недавно волновало, подсказал Ракитин.

— И это было...

Ракитин, не спросив разрешения, потянулся к открытому портсигару, закурил и даже не вспомнил, что больше года, как бросил курить.

— А потом?

— Потом меня арестовали. Не буду рассказывать обо всём, что пришлось испытать. Самое страшное было в том, что обвиняли меня не враги, признания добивались не враги. Я никогда не забуду тупое и фанатичное лицо следователя, который во что бы то ни стало решил добиться от меня признания в самых нелепых вещах. Любой ценой. Вариант моей невиновности для него заранее исключался. Я знал, всё выяснится, но до чего же было трудно. Поймите, мой отец погиб за советскую власть в отряде Кочубея, за плечами у меня комсомол, годы учёбы, годы войны и лагеря, я только что успел снова рвануться в работу, о которой стосковался — и вдруг на меня обрушилось это непонятное, дикое для меня обвинение...

Мне удалось написать жене. Жаль её было. Но и мысли не мелькнуло, что она может сомневаться во мне. Я просто писал о том, что люблю её, просил не тревожиться. Как хотелось её успокоить!.. И

вот на одном из допросов мне показали протокол, который подписала она. Там были её слова о том, что она не сумела разгадать меня, была обманута мною и поэтому не подозревала о моей вредной деятельности, связи с врагами. Я чуть с ума не сошёл. Поймите... Ещё следователь не дал такого заключения, хотя и добивался его любыми средствами. Ещё я не был осуждён, а она, моя жена, уже признала меня врагом.

Я сумел отправить ей второе письмо. В нём я напомнил ей всю нашу жизнь. Ведь она знала меня, как себя. Как же она могла поверить... предать... Я клялся ей и не знал, зачем я это делаю, разве между близкими, навеки близкими людьми есть слова крепче, чем простые «да» и «нет», разве, если она сама не знала, не увидела, какой я, разве в этом случае помогут мои слова и заверения...

И всё-таки я ждал ответа. Ждал свидания. Передачи. Наконец, я получил передачу. Я плакал над ней. Потом оказалось, что передача не от неё. У меня есть друг, вот он-то со своей женой и взял на себя заботу обо мне. Я не знаю, куда только не писал и куда не обращался он. Он говорил: «Скорее поверю, что Григорьев — убийца, но враг — никогда!» Он не забыл меня и после того, как приговор состоялся... Если бы мне сейчас потребовалось умереть, чтобы спасти его, я не колебался бы ни минуты. Пять лет я отбывал наказание. И вот всё выяснилось. Я свободен. Как говорится, полностью реабилитирован. Восстановлен в партии. Я начинаю жизнь третьим заходом. Пять лет было вычеркнуто — надо наверстать. И наверстаю. Но если бы вы знали, как ненавижу я эту женщину...

— Вы не встречались с ней? — осторожно спросил Ракитин.

— Нет... Сначала хотел. Появиться перед ней: смотри! Потом раздумал. Зачем! Это человек прямолинейных мыслей. Её беда в том, что она привыкла жить и думать по указке, ничего не решая сама, понимая свой долг, как слепое и безгласное послушание.

— Странно, всё, что вы рассказали, — вздрогнув, сказал Ракитин.

— Страшно. Знаете, Ракитин, много у нас ещё ненаказуемых преступлений. Ну вот, не подписала бы она протокол, и я не был бы седым, нашёл бы в себе силы активно сопротивляться тем ложным обвинениям, что следователь вешал на меня. Не пропало бы пять лет моей жизни. А попробуйте-ка подать на неё в суд! В кодексе законов такого параграфа нет. Обвините её по партийной линии. Скажет: её ввели в заблуждение. И верно, ввели. А только не знаю, доживу ли я после всей этой передрыги до того срока, до которого дожил бы инженер Григорьев, спокойно работая после войны на своём заводе. И кто отвечает за то, что не доживу я до положенных мне лет?

Ракитин чувствовал огромную усталость. Закрыть бы глаза и лежать, не думая ни о чём. Григорьев взглянул на него и встревожился.

— Да что с вами? Знал бы — не рассказывал.

Ракитин с усилием провёл рукой по лбу:

— Ничего. Ничего...

— Выходит, разжалобил? Не подозревал в себе таких талантов. Только, батенька мой, вы не расстраивайтесь. Такие как я клятые, мятые, крепче становятся. Я ещё, может, и чужого века прихвачу. И не думайте, что я из-за неё в людях разуверился. Не выйдет! Людей я тысячи повидал. И счастливых и страдающих. И знаю, что людям можно верить, и можно их любить, и можно с ними в самом трудном плечом к плечу выстоять...

— А давайте ко сну располагаться, — прервал он себя, — мне завтра рано вставать.

Григорьев умылся, с видимым удовольствием растянулся на постели, выкурил ещё одну папиросу и через несколько минут спал. Ракитин в голубом свете ночной лампочки различал сверху его спокойное и красивое худощавое лицо.

Он не мог уснуть, лежал почти без мысли, прислушиваясь к стуку колёс, да к тому, что всё нарастало в сердце.

Он слышал, как осторожно открылась дверь, вошла соседка, вдоволь наигравшаяся в соседнем купе в домино. Скоро до Ракитина донеслось и её сонное дыхание.

Поезд то стремительно нёсся вперёд, то останавливался у ярко освещённых и по-ночному тихих вокзалов.

Вот и небо стало светлеть. В дверь раздался осторожный стук проводника. Григорьев встал, оделся, снял с полки чемодан. Ракитин лежал, не шевелясь. Пусть Григорьев не заметит, что он не

спит. Пусть уйдёт молча, не попрощавшись, не добавив ничего к тому страшному, что уже всей тяжестью давило на сердце.

Поезд замедлил ход. Григорьев застегнул пальто, взялся за ручку двери. И тогда Ракитин понял, что он сейчас уйдёт, уйдёт навсегда и унесёт с собой последнюю возможность избавиться от гнетущего сомнения. Он быстро сел.

— Вы уходите?

— Пора.

— От души желаю вам счастья!

— Ко времени бы ваше слово пришлось.

— И всё-таки хочу спросить...

— К вашим услугам.

— А её точно звали Марией?

— Клавдией её звали... Клавдия Каменева. Что с вами?

Вагон рвануло и поезд остановился.

— Не беспокойтесь. Уже прошло. Ещё раз желаю вам счастья.

Григорьев протянул и крепко пожал ему руку.

Вечером этого дня Ракитин сидел в своей комнате, куда он недавно так рвался. На кухне раздавались шаги Клавдии, убиравшей посуду. Сейчас она войдёт, скажет заботливо и нежно: «Да ты совсем расхворался, родной. Тебе надо прилечь»...

Он не хочет этого. Не хочет, чтобы она входила, смотрела на него, говорила с ним.

Он больше не верит её глазам, которые всегда так прямо смотрят в глаза собеседнику, не верит её рукам, её голосу, её походке. Не верит ничему. Ему страшно с ней. Не уйти, никогда теперь не уйти от мысли: «А в какую минуту моей слабости или болезни она предаст и меня?»

Он не хочет, чтобы она смотрела, когда он промокший от ливня бежит по лужам. Он не может её любить...

Что же ему делать?